



ЗОЛОТОЙ

ЭМ

Эмиль Золя

Жерминаль

«ИП Стрельбицкий»

Золя Э.

Жерминаль / Э. Золя — «ИП Стрельбицкий»,

«Золотой фонд мировой литературы» - коллекция электронных книг, включающая лучшие образцы мировой художественной литературы, представляет собой максимально исчерпывающий список самых читаемых книг мира. Каждое из произведений, изданных под обложкой этой серии, входит в один или сразу несколько списков лучших книг по разным версиям, которые не противопоставляются один другим, а гармонично объединяются, чтобы предоставить читателю наибольший выбор. «Жерминаль» - роман французского публициста, писателя и общественного деятеля Эмиля Золя (1840-1902). Этьен Лантье устраивается на работу в шахты городка Мансу. Он быстро завоевывает признание товарищей, но как только условия в шахте становятся невыносимыми, друзья Этьена объявляют забастовку. Лантье руководит протестующими, но вскоре его революционный энтузиазм угасает.

© Золя Э.

© ИП Стрельбицкий

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
I	5
II	11
III	16
IV	24
V	31
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Эмиль Золя ЖЕРМИНАЛЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В густом мраке беззвездной ночи, по большой дороге из Маршьенна в Монсу, пролежавшей совершенно прямо между полями свекловицы на протяжении десяти километров, шел путник. Он не видел перед собою даже земли и лишь чувствовал, что идет по, открытому полю: здесь, на безграничном просторе, неся мартовский ветер, подобный ледяному морскому шквалу, начисто подметая голую землю и болотистые топи. Ни деревца не было видно на фоне ночного неба; мощеная дорога тянулась среди непроглядной тьмы, как мол в порту.

Путник отправился из Маршьенна часа в два. Он шел большими шагами, в поношенной куртке из бумажной материи и в бархатных штанах, и дрожал от стужи. Его очень стеснял небольшой узелок, увязанный в клетчатый платок; то и дело он перекладывал его из одной руки в другую, стараясь зажать под мышкой так, чтобы легче было засунуть в карманы обе руки, заочневшие от восточного ветра и потрескавшиеся до крови. В опустошенной голове этого безработного, бездомного человека шевелилась одна лишь мысль, одна надежда, что с рассветом, может быть, потеплеет. Так он шел уже целый час и вот в двух километрах от Монсу увидел слева красные огни; казалось, в воздухе висели три жаровни с раскаленными углями. Сперва это даже испугало путника, и он приостановился; однако он не мог побороть мучительного желания погреть руки, хотя бы одно мгновение.

Дорога спускалась в ложбину. Огни исчезли. Справа тянулся дощатый забор, за ним проходило полотно железной дороги; налево был откос, поросший травой; смутно выделялось селение с низкими однообразными черепичными крышами. Путник прошел еще шагов двести. Внезапно на повороте перед ним снова появились огни. Он не мог понять, как они могут гореть так высоко в темном небе – точно три туманные луны. Но в это время внимание его привлекла другая картина: внизу он увидел сгрудившиеся строения; над ними высился силуэт заводской трубы; в потускневших окнах кое-где мерцал слабый свет; снаружи, на лесах, уныло висели пять или шесть зажженных фонарей, так что едва можно было различить ряд почерневших бревен, похожих на гигантские козлы. Из этой фантастической громады, тонувшей в дыму и мраке, доносился один только звук – могучее, протяжное дыхание незримого паровика.

Путник понял, что перед ним угольные копи. Ему вдруг стало стыдно: стоило ли туда идти? Там не найдешь работы. Вместо того чтобы направиться к шахтным постройкам, он взобрался на насыпь, где в трех чугунных жаровнях горел каменный уголь, освещая и обогревая место работ. Рабочим здесь приходилось трудиться до глубокой ночи, так как из шахт все еще подавали отбросы угля. Тут путник расслышал грохот вагонеток, которые катили по мосткам; он различал движущиеся силуэты, люди сгружали уголь у каждой жаровни.

– Здорово, – сказал он, подходя к одной из жаровен.

Повернувшись спиной к огню, там стоял возчик, старик в лиловой шерстяной фуфайке и в шапке из кроличьего меха. Большая гнедая лошадь как вкопанная терпеливо ждала, когда освободятся шесть привезенных ею вагонеток. Тощий рыжий малый неторопливо опораж-

нивал их, механически нажимая рычаг. А вверху ледяной ветер свистал с удвоенной силой, проносясь, точно взмах косы.

– Здорово, – ответил старик.

Наступило молчание. Почувствовав недоверчивый взгляд возчика, путник поспешил назвать свое имя.

– Меня зовут Этьен Лантье, я механик... Не найдется ли для меня здесь работы?

Пламя освещало его; ему было, вероятно, не больше двадцати одного года. Черноволосый, красивый, он казался очень сильным, несмотря на небольшой рост.

Возчик, успокоенный его словами, отрицательно помотал головой:

– Работы для механика? Нет, нет. Вчера тоже двое приходили. Ничего нет.

Порыв ветра заставил их умолкнуть. Затем Этьен спросил, указывая на темную груды зданий у подножия холма:

– Это копи, не правда ли?

Старик не мог сразу ему ответить: его душил сильный приступ кашля. Наконец он отхаркнул, и в том месте, где плевок упал на землю, в красноватом отсвете пламени оказалось черное пятно.

– Да, это шахта Воре... А вот и поселок. Смотрите!

И он указал во тьму, где была деревня; ее черепичные крыши путник заметил раньше.

Но вот все шесть вагонеток были опорожнены; старик бесшумно последовал за ними, с трудом передвигая больные, ревматические ноги. Большая гнедая лошадь без понукания тащила вагонетки, тяжело ступая между рельсов; внезапный порыв ветра взъерошил ей шерсть.

Теперь шахта Воре перестала быть смутным видением. Находясь у жаровни, Этьен, казалось, забыл, что ему нужно отогреть потрескавшиеся до крови руки. Он все смотрел и узнавал каждую подробность шахты: просмоленный сортировочный сарай, башню над спуском в шахту, большое помещение для подъемной машины и четырехугольную башенку, в которой находился водоотливной насос. Эта шахта с приземистыми кирпичными зданиями, осевшая в ложбине, выставившая вверх дымовую трубу, словно грозный рог, казалась ему притаившимся ненасытным зверем, готовым поглотить весь мир. Продолжая все разглядывать, он подумал о себе, о том, что вот уже целую неделю он ищет работу и живет, как бродяга; вспомнил, как он работал в железнодорожной мастерской, как дал пощечину начальнику, был изгнан из Лилля и как потом его изгоняли отовсюду. В субботу он пришел в Маршьенн, где, по слухам, можно было получить работу на металлургических заводах; но там он не нашел ничего ни на заводах, ни у Сонневилля, и ему пришлось провести воскресенье на лесных складах при экипажной мастерской, прячась за бревнами и досками, сложенными в штабеля; в два часа ночи его выгнал оттуда сторож. Теперь у него не было ничего – ни единого су, ни ломтя хлеба; что он будет делать, бродя по большим дорогам, не зная даже, куда укрыться от холодного ветра? И вот он попал на каменноугольные копи; при свете редких фонарей можно было рассмотреть глыбы добытого угля, а в распахнувшуюся дверь он увидел ярко пылающие топки паровых котлов. Он слышал непрерывное, неустанный пыхтение насоса, могучее и протяжное, словно сдавленное дыхание чудовища.

Рабочий, выгружавший вагонетки, стоял сгорбившись и ни разу не взглянул на Этьена, который нагнулся, чтобы поднять свой узелок, упавший на землю. В это время послышался кашель, возвестивший о возвращении возчика. Он медленно выходил из темноты, а за ним – гнедая лошадь, тащившая шесть вновь нагруженных вагонеток.

– Есть в Монсу фабрики? – спросил Этьен.

Старик отхаркнул черным, а затем ответил под свист ветра:

– Фабрик-то здесь достаточно. Надо было видеть, что тут делалось года три-четыре назад! Трубы дымили, рабочих рук не хватало, люди никогда столько не зарабатывали, как в

те времена... А теперь снова пришлось подтянуть животы. Сущая беда: рабочих рассчитывают, мастерские закрываются одна за другой... Император-то, может быть, и не виноват, но зачем он затеял войну в Америке? Не говоря уже о том, что скот и люди гибнут от холеры.

Оба продолжали жаловаться, перебрасываясь короткими, отрывистыми фразами. Этьен рассказывал о своих бесплодных скитаниях в течение целой недели: неужели остается только подохнуть с голоду? Скоро и так все дороги будут запружены нищими. Да, говорил старик, все это может, пожалуй, плохо кончиться, – не по-божьему столько христиан выкинуто на улицу.

– Теперь не каждый день ешь мясо.

– Был бы хоть хлеб!

– Правда, был бы только хлеб!

Голоса терялись, порывы ветра заглушали их своим унылым воем.

– Смотрите! – громко прокричал возчик, поворачиваясь лицом к югу. – Вон там Монсу...

Протянув руку, он стал называть невидимые во мраке места. Там, в Монсу, сахарный завод Фовелля еще на полном ходу, но вот сахарный завод Готона уже сократил часть рабочих. Остаются только вальцовая мельница Дютийеля да канатная фабрика Блеза, поставляющая канаты для рудников. Одни они уцелели. Затем он указал широким жестом на север, охватив добрую половину горизонта: машиностроительные мастерские Сонневилля не получили и на две трети обычных заказов; из трех доменных печей на металлургическом заводе в Маршьенне одна погашена; наконец – стекольному заводу Гажбуа грозит забастовка, потоку что там поговаривают о снижении заработной платы.

– Знаю, знаю, – повторял молодой человек при каждом сообщении. – Я сам только что оттуда.

– У нас-то дело покуда еще идет, – прибавил возчик, – хотя угля стали добывать против прежнего поменьше. А посмотрите прямо перед вами, на шахту Победа, – там работают только две коксовые печи.

Он сплюнул, впряг свою осовелую лошадь в пустые вагонетки и опять поплелся за нею.

Теперь Этьен имел полное представление о целой области. По-прежнему кругом лежала мгла, но рука старого рабочего как бы наполнила ее образами великих бедствий, которые молодой человек в эту минуту ясно ощущал повсюду вокруг себя на огромном пространстве. Казалось, над голой равниной вместе с мартовским ветром катился вопль голода. Бешеные порывы ветра словно несли с собою смерть труду. То мчалась нужда, которая погубит множество людей. И, стараясь блуждающим взором проникнуть во мрак, Этьен терзался желанием и страхом увидеть все воочию. Но окрестность тонула в непроглядной ночной темноте, и только вдали он различал доменные и коксовые печи.

Сооружения со множеством труб, расположенных по диагонали, горели красными языками пламени; левее две башни светились под открытым небом синим огнем, словно исполинские факелы. Все словно было охвачено зловещим заревом; на мрачном небосклоне не было ни звезды – светились только ночные огни в стране угля и железа.

– А вы, случайно, не из Бельгии? – раздался за спиной Этьена голос вернувшегося возчика.

На этот раз он привез только три вагонетки. Можно не спешить с выгрузкой: в клетки подъемной машины сломалась какая-то гайка, и работа приостановлена на целых четверть часа. Внизу наступила тишина, не слышно было грохота выгружаемых вагонеток, от которого сотрясались балки. Из глубины шахты доносились только отдаленные удары молота о железный лист.

– Нет, я с юга, – ответил молодой человек.

Рабочий, разгрузив вагонетки, присел на землю, очевидно довольный перерывом. Он продолжал угрюмо молчать и только поднял большие тусклые глаза на возчика, как бы изумляясь такой словоохотливости. Правда, возчик говорил обычно очень мало. Но ему понравилось лицо незнакомца, и у него развязался язык, как это бывает у стариков; тогда они громко разговаривают даже наедине с собою.

– А я, – промолвил он, – из Монсу, зовут меня Бессмертный.

– Это ваше прозвище? – спросил удивленный Этьен.

Старик усмехнулся с довольным видом.

– Да, да... – сказал он, указывая на Воре. – Меня трижды вытаскивали оттуда, изодранного в клочья: раз у меня вся кожа была обожжена, другой раз меня по горло засыпало землей, а в третий раз я так наглотался воды, что у меня брюхо раздулось, как у лягушки... Тогда-то, видя, что я все не хочу подыхать, меня и прозвали Бессмертным.

Он еще больше развеселился, но смех его походил на скрип несмазанного колеса и кончился страшным приступом кашля. Жаровня ярко освещала его большую голову с редкими седыми волосами и бледное плоское лицо, покрытое синеватыми пятнами. Он был небольшого роста, с огромной шеей, с вывороченными икрами и пятками; длинные руки с толстыми короткими пальцами доходили до колен. Как и лошадь, неподвижно стоявшая, несмотря на ветер, на месте, он казался каменным; словно нипочем ему были и холод и вихрь. Кашель раздирал ему горло и надрывал грудь. Когда приступ кончился, он сплюнул, и на земле, возле жаровни, снова показалось темное пятно. Этьен взглянул сначала на старика, потом на пятно.

– Давно вы работаете в копях? – спросил он.

Бессмертный широко развел руками.

– Давно, ой давно!.. Мне не минуло и восьми лет, когда я спустился в шахту, как раз здесь, в Воре, а теперь мне пятьдесят восемь. Посчитайте-ка... Сперва я был там подручным у забойщика, потом, когда вошел в силу и смог возить вагонетки, меня сделали откатчиком, а потом я восемнадцать лет пробыл забойщиком. Затем, из-за проклятых ног, меня оттуда перевели, и я стал ремонтным рабочим, делал насыпи и крепил галереи; и так до тех пор, пока не пришлось убрать меня изпод земли: доктор сказал им, что иначе я там и останусь. И вот пять лет тому назад поставили меня возчиком... Ну, что скажете? Недурно, а? Пятьдесят лет в шахтах, да из них сорок пять под землей.

Пока он говорил, куски раскаленного угля, вываливавшиеся порою из жаровни, озирали красноватым отсветом его бледное лицо.

– Они все ладят, чтобы я отдохнул, – продолжал старик, – но я-то не хочу: я ведь не так глуп, как они воображают!.. Продержусь еще два года, до шестидесяти лет, и буду получать пенсию в сто восемьдесят франков. А если я с ними теперь распрощаюсь, то они дадут мне пенсию всего в сто пятьдесят франков. Хитрый народ! К тому же я еще совсем крепкий, вот только ноги подводят. Это, видите ли, оттого, что слишком много воды набралось у меня под кожей: там, под землей, вас все время поливает. Бывают дни, когда я без крика лапой пошевелить не могу.

Приступ кашля опять прервал его.

– От этого-то вы так и кашляете? – спросил Этьен.

Бессмертный отрицательно замотал головой. Отдышавшись, он сказал:

– Нет, нет, это я простудился в прошлом месяце. Раньше я никогда не кашлял, а вот теперь никак не могу отделаться. Смешно сказать, харкаю и харкаю без конца.

Мокрота снова подступила ему к горлу, и он опять плюнул черным.

– Это кровь? – решился спросить Этьен.

Старик не спеша вытер рот тыльной стороной руки.

– Это уголь... У меня внутри его столько, что он будет согревать до самой смерти. Вот уж пять лет я не спускался под землю; но в груди у меня, должно быть, накопился его целый склад, о котором я и не подозревал. Хе, это поддерживает.

Наступило молчание; издали из шахты доносился равномерный стук молота; ветер проносился над равниной, словно вопль голода и усталости из недр ночи. Освещенный трепетным пламенем, старик продолжал, понизив голос; он вспоминал. Да! И он и его семейство не со вчерашнего дня работают в каменноугольных копях компании Монсу, а с самого их основания; а было это давно, очень давно, – тому уже сто с лишком лет. Дед его, Гийом Маэ, тогда еще пятнадцатилетний мальчишка, открыл каменный уголь в Рекийяре, первую – заброшенную теперь – шахту Компании, что возле сахарного завода Фовелля. Все знали это; и открытая дедом шахта в честь него была названа «шахтой Гийома». Сам он деда не помнит, но ему рассказывали про него: он был большого роста, очень сильный и умер шестидесяти лет. Потом работал отец, Никола Маэ, по прозвищу Рыжий; он остался в Воре да тут и погиб, всего сорока лет от роду. В Воре в то время копали: случился обвал, земля вдруг осела; она выпила из отца всю кровь, а кости были раздроблены камнями. Затем двое его дядей и три брата тоже сложили там головы, – только это уже позднее. Сам он, Венсан Маэ, выбрался почти целехонек, – ноги не в счет; оттого-то и слывет ловкачом. Что поделаешь? Работать-то нужно. У них в семье это переходит от отца к сыну, как и всякое ремесло. Теперь внизу работает его сын, Туссен Маэ, да и его внуки, все члены семьи, которые живут в поселке напротив. Одно поколение за другим, сыновья за отцами, – так они и работают сто шесть лет на одного и того же хозяина! Каково?

Не многие буржуа могли бы привести так обстоятельно свою родословную!

– Хорошо, кабы еще при этом всегда было что есть, – сказал Этьен.

– Вот и я говорю: коли хлеб есть – жить можно.

Бессмертный умолк, устремив взгляд в сторону поселка, где в домах начинали загораться огоньки. На колокольне в Монсу пробило четыре часа; стало еще холоднее.

– А богатая у вас Компания? – спросил Этьен.

Старик вздернул плечами, потом поник, как бы под тяжестью золотых монет.

– Ну, конечно!.. Она, может быть, и не так богата, как соседняя компания в Анзене, но миллионов тут, во всяком случае, не мало. И не сосчитать... Девятнадцать шахт, из них тринадцать разрабатываются: Воре, Победа, Кручина, Миру, Сен-Томас, Мадлена, Фетри-Кактель и другие, затем еще шесть, уже отработанных или открытых для вентиляции, как Рекийяр... Десять тысяч рабочих, концессии в шестидесяти семи коммунах, добыча по пять тысяч тонн в сутки, железная дорога между всеми шахтами, мастерские, фабрики!... Эх! Деньги у них есть!

Услыхав грохот вагонеток по мосткам, гнедая лошадь насторожила уши. Клеть подъемной машины исправили, и приемщики снова взялись за работу. Перепрягая лошадь, чтобы двинуться обратно, возчик ласково промолвил, обращаясь к ней:

– Нечего привыкать к болтовне, ленивая дрянь! Что, если бы господин Энбо узнал, на что ты тратишь время?

Этьен задумчиво смотрел в темноту.

– Стало быть, шахта эта принадлежит господину Энбо? – спросил он.

– Нет, господин Энбо – всего только главный директор, – пояснил старик. – Сму платят, как и нам.

Указывая вдаль, молодой человек спросил:

– Кому же принадлежит все это?

Но Бессмертный некоторое время не мог ответить: его снова душил приступ кашля, такой сильный, что он еле отдышался. Наконец он сплюнул и обтер с губ черную пену. Ветер усиливался.

– Гм!.. Кому принадлежит все это? Никто не знает. Людям.

И он протянул руку, как бы указывая во мраке на далекое, невидимое место, где живут эти люди, на которых более ста лет трудились поколения Маэ. Казалось, в голосе его звучал религиозный трепет, словно он говорил о недоступном святилище, где таилось тучное и ненасытное божество; все они приносили ему в жертву свою плоть, но никогда не видали его.

– Если бы хоть хлеба было вволю, – в третий раз проговорил Этьен без видимой связи.

– Ну да, черт возьми! Будь всегда хлеба вволю, тогда было бы ладно!

Лошадь тронулась; за ней ушел и возчик, тяжело ступая больными ногами. Рабочий, оставшийся на месте, и не пошевелинулся; он сидел съежившись, уткнувшись подбородком в колени, устремив в пустоту большие тусклые глаза.

Подняв с земли свой узелок, Этьен все не уходил. Порывы ветра леденили ему спину, а грудь припекало огнем. Может быть, все-таки спросить, нет ли работы на копах? Старик мог и не знать; теперь он сам поразмыслил и готов был взяться за любую работу. Куда ему идти и что делать в этом краю, изголодавшемся от безработицы? Издохнуть под забором, как бездомному псу? Но он колебался, его страшила эта шахта Воре среди голой равнины, тонувшей во мраке ночи. Ветер крепчал с каждым порывом; казалось, он неся с безграничных просторов. Ни проблеска зари в темном небе; одни доменные и коксовые печи пылали во мраке кровавым заревом, ничего не освещая. А Воре по-прежнему лежало, распластанное в глубине, словно злой хищный зверь, залегший в норе, и дышало все протяжнее, глубже, упорно переваривая человеческую плоть.

II

Среди полей, засеянных хлебом и свекловицей, спал под покровом черной ночи поселок Двухсот Сорока. Едва можно было различить четыре огромных квартала, груды домиков, которые напоминали своими прямолинейными очертаниями казарменные или больничные корпуса. Расположены они были параллельными рядами, а между ними проходили три широкие улицы, разделенные на одинаковые участки с садами. На пустынной равнине лишь завывал ветер да хлопали по заборам сорванные решетки.

У Маэ, в шестнадцатом номере второго квартала, стояла тишина. В единственной комнате верхнего этажа было совершенно темно, и тьма эта как бы давила на спящих своей тяжестью; все спали вместе, с открытыми ртами, изнуренные усталостью. Несмотря на стужу на дворе, в комнате было душно и жарко, – такой тяжелый воздух, насыщенный животным теплом и людским запахом, присущ комнатам, где спит много народа, как бы чисто их ни содержали.

В комнате нижнего этажа часы с кукушкой пробили четыре, но никто не пошевелился; слышалось тяжелое дыхание с присвистом, сопровождаемое звучным храпом. Катрина внезапно поднялась и, как обычно, услышав снизу бой часов, насчитала четыре; однако она была до того утомлена, что не могла заставить себя проснуться окончательно. Затем, высвободив ноги из-под одеяла, нащупала спички, зажгла свечу, но все не вставала; в голове она ощущала такую тяжесть, что снова прилегла, повинаясь неодолимой потребности.

Свеча разгорелась и осветила квадратную комнату в два окна, в которой стояли три кровати. Там были еще шкаф, стол, два старых ореховых стула, резко выделявшиеся темными пятнами на фоне светло-желтых стен. На гвозде висело платье, на полу стояли кувшин и красная миска вместо умывального таза – больше ничего. На левой кровати спал старший сын Захария, парень двадцати одного года; вместе с ним лежал его одиннадцатилетний брат Жанлен; на правой кровати спали, обнявшись, двое меньших, Ленора и Анри, первая шести, второй четырех лет, на третьей кровати – Катрина вместе с сестрой Альзирой, девятилетней чахлой девочкой, которой она бы и не ощущала возле себя, если бы горб маленькой калеки не давил ее в бок. Стеклопанель была открыта. Виднелись лестница и узкий проход, где стояла четвертая кровать; на ней спали отец и мать, и тут же была пристроена люлька новорожденной дочери Эстеллы, которой только что исполнилось три месяца.

Катрина мучительно силилась стряхнуть дремоту. Она потягивалась и теребила обеими руками свои рыжие волосы, растрепавшиеся на лбу и на затылке. Девушка казалась очень хрупкой для своих пятнадцати лет; из-под узкой сорочки виднелись только ноги, посилавшие и как бы татуированные углем, и нежные руки, молочная белизна которых резко отличалась от мертвенно-бледного лица, уже успевшего увянуть от постоянного умывания черным мылом. Она зевнула в последний раз – рот с великолепными зубами и бледными, бескровными деснами был у нее чуть-чуть велик, – слезы проступили на серых невыспавшихся глазах, измученных и скорбных, и все ее обнаженное тело, казалось, было полно усталости.

С лестницы послышалось ворчание; сердитый голос Маэ пробормотал:

– Черт возьми! Самая пора... Это ты засветила, Катрина?

– Да, отец... Внизу только что пробило.

– Попроворнее, бездельница! Кабы ты вчера поменьше плясала, то и разбудила бы нас пораньше... Лентяй!

Он продолжал браниться; но сон опять одолел его, ворчание прекратилось, и снова послышался храп.

Девушка стала босыми ногами на пол и, как была, в одной сорочке, принялась расхаживать по комнате. Проходя мимо кровати Анри и Леноры, она накинула на них соскользнувшее одеяло; они крепко спали, как спят в детстве, и не пошевелились. Альзира, с открытыми глазами, не говоря ни слова, перелегла на теплое место старшей сестры.

– Эй, Захария! И ты, Жанлен! – повторяла Катрина перед кроватью братьев; они лежали лицом вниз, уткнувшись в подушку.

Ей пришлось схватить старшего брата за плечо и потрясти его, – тот начал ругаться; тогда она стянула с них одеяло. Это развеселило ее, и она засмеялась, глядя, как мальчики отбивались голыми ногами.

– Глупо же, оставь меня! – ворчал Захария, садясь на постели; он был в плохом настроении. – Не люблю я таких проделок... Бог ты мой, как вставать не хочется!

Тощий, неуклюжий, с длинным лицом и реденькой бородкой, с белесыми волосами, он казался малокровным, как и вся семья. Рубашка приподнялась у него до живота, и он ее спустил, но не от стыдливости, а потому что продрог.

– Внизу уже пробило четыре, – повторила Катрина. – Живей, ну! Отец сердится.

Жанлен, свернувшийся клубком, опять закрыл глаза, сказав:

– Отстань, я сплю!

Девушка снова звонко расхохоталась. Жанлен был такой маленький, его тонкие руки и ноги распухли в суставах от золотухи. Катрина легко подняла его на руки; мальчик стал бить ее ногами, и его бесцветное обезьянье лицо, обрамленное шапкой курчавых волос, с зелеными глазами и большими ушами побледнело от злости; его сердило, что он такой хилый. Он молча укусил сестру в правую грудь.

– Злюка! – проговорила она, еле удержавшись от крика, и опустила его на пол.

Альзира тоже проснулась, но лежала молча, натянув одеяло до подбородка, и больше не засыпала. Она следила умными глазами калеки за сестрой и обоими братьями, которые стали одеваться. Новая ссора вспыхнула возле умывальной миски; братья толкали и отгоняли девушку, потому что она слишком долго мылась. Скинув рубашки, еще не вполне проснувшись, они отправляли свои надобности, нисколько не стыдясь, непринужденно и спокойно, как щенята, выросшие вместе. Катрина была готова первой. Она надела штаны углекопа, холщовую блузу, синий чепец на голову; в рабочей одежде она казалась мальчиком-подростком, только легкое покачивание в бедрах выдавало ее пол.

– Когда старик вернется, – злобно проговорил Захария, – постель совсем остынет; тогда он будет доволен... Вот я ему скажу, что ты ее застудила.

«Старик» – это был дед Бессмертный. Ночью он работал, а днем спал, так что постель никогда не остывала: на ней всегда кто-нибудь храпел.

Катрина, не отвечая, подняла одеяло и прибрала постель. За стеною послышался шум из соседнего дома. В этих кирпичных домиках, построенных Компанией с соблюдением величайшей экономии, стены были так тонки, что сквозь них проникал малейший шум. Люди во всем поселке жили бок о бок; ничто в домашней жизни не могло быть скрыто, даже от детей. По лестнице раздались тяжелые шаги, потом послышалось как бы падение чего-то мягкого, потом вздох наслаждения.

– Недурно! – сказала Катрина. – Левак вышел, а к его жене явился Бутлу. Жанлен захихикал, даже у Альзиры заблестели глаза. Они каждое утро потешались над этим соседским супружеством втроем: у забойщика жил на квартире ремонтный рабочий, и у женщины оказалось два мужа – один ночной, другой дневной.

– Филомена кашляет, – заметила Катрина.

Она говорила о старшей дочери Левака, девятнадцатилетней девушке, любовнице Захарии, которая уже имела от него двоих детей; она была слабогрудой и состояла сортировщицей, так как не могла работать под землею.

– Пустяки! – возразил Захария. – Филомена и знать ничего не хочет, спит себе!.. Свинство – спать до шести часов!

Он надел штаны, потом отворил окно, словно что-то задумав. Поселок просыпался, в прорезах ставней замелькали огни. Брат и сестра снова заспорили: Захария высунулся, чтобы подстеречь, не выйдет ли из дома Пьерронов, что напротив, старший надзиратель. Говорили – он живет с женою Пьеррона; Катрина же уверяла, что Пьеррон накануне начал очередное дневное дежурство по нагрузке и Дансарт поэтому никак не мог сегодня там ночевать. В комнату проникал холодный воздух, но брат и сестра были слишком увлечены спором – они этого и не почувствовали: каждый отстаивал правильность своих догадок. Но вдруг раздалась крики и плач: Эстелла озябла в своей люльке.

Маэ сразу проснулся. Почему он так обессилел? Вот, опять заснул, как настоящий бездельник! И он стал так браниться, что дети притихли. Захария и Жанлен кончали умываться медленно и как бы уже утомившись. Альзира все лежала с широко раскрытыми глазами. Двое младших, Ленора и Анри, обняв друг друга, не пошевелились и спали по-прежнему, несмотря на шум, тихо дыша во сне.

– Катрина, подай свечу! – крикнул Маэ.

Она застегнула блузу и понесла свечу в лестничный проход. Братья продолжали разыскивать свое платье при скудном свете, проникавшем в дверь. Отец вскочил с постели. Не останавливаясь, Катрина спустилась, ощупью по лестнице, как была, в грубых шерстяных чулках, и в нижней комнате зажгла другую свечу, чтобы сварить кофе. Вся обувь стояла под буфетом.

– Замолчи ты, гадина! – вспылил Маэ, выведенный из себя криками Эстеллы, которая все не унималась.

Он был невысокого роста, как и старик Бессмертный, и такой же толстый, с крупной головой, с плоским бледным лицом; белесые волосы были коротко острижены. Ребенок заорал еще громче, перепугавшись, когда отец принялся размахивать над ним своими огромными жилистыми руками.

– Оставь ее, знаешь ведь, что не замолчит, – проговорила жена Маэ, потягиваясь в постели.

Она тоже только что проснулась и досадовала, что ей никогда не дают как следует выспаться. Неужели они не могут тихо уйти! Она лежала, закутавшись в одеяло так, что видно было только ее длинное лицо с крупными чертами, сохранившее следы грубой красоты; к тридцати девяти годам она уже поблекла от вечной нужды и семерых детей: Глядя в потолок, она медленно заговорила; муж тем временем одевался. Ни он, ни она не обращали больше внимания на ребенка, надрывавшегося от крика.

– Знаешь, я сижу без гроша, а сегодня только еще понедельник: до получки шесть дней... Как дальше быть? Вы все вместе приносите девять франков. Как мне на них обернуться? В доме ведь десять ртов.

– Ох, уж и девять франков! – воскликнул Маэ. – Я да Захария получаем по три франка: вот тебе шесть... Катрина и отец по два: вот тебе четыре; четыре да шесть – десять... Да еще Жанлен получает франк: вот тебе одиннадцать.

– Одиннадцать-то одиннадцать, а праздников и прогулов ты не считаешь? Говорю тебе, больше девяти никогда не получается!

Маэ не отвечал, ища на полу свой кожаный пояс. Затем, разгибаясь, он промолвил:

– Нечего жаловаться, я еще здоров. А сколько в сорок два года на ремонтную работу переходят!

– Может быть, может быть, старина, но от этого на хлеб у нас не прибавляется. Что же мне делать, скажи на милость? У тебя-то ничего нет?

– Два су есть.

– Ну и оставь их себе, выпьешь кружку пива... Бог мой! А мне что делать? Шесть дней еще – конца не видать. Мы в лавке у Мегра шестьдесят франков задолжали. Он меня позавчера за дверь выставил, а я все-таки к нему опять пойду. Но если он упрется и откажет...

И она продолжала унылым голосом, не поворачивая головы, жмурясь порою от скудного света свечи. Она говорила о том, что в доме ничего нет, а дети просят хлеба; даже кофе не хватает, от воды делается резь в животе; и долго-долго еще придется им есть вареную капусту, обманывая голодный желудок. Приходилось говорить все громче, так как рев Эстеллы покрывал слова. Этот истошный крик становился невыносимым. Маэ, казалось, только теперь услышал его, выхватил вне себя ребенка из люльки и бросил его на кровать к матери, яростно бормоча:

– На тебе, а то я ее пристукну... Ну и ребенок, прости господи! Ей-то ни в чем недостатка нет, сосет себе грудь, а орет громче всех!

В самом деле, Эстелла тотчас принялась сосать. Закутанная в одеяло, успокоенная теплом постели, она только почмокивала губами.

– Разве господа из Пиолены тебе не говорили, чтобы ты к ним пришла? – спросил отец, помолчав.

Мать с сомнением, уныло сжала губы.

– Да, я их встретила, они носили одежду бедным детям... Правда, сведу-ка я к ним сегодня Ленору и Анри. Хоть бы сто су дали!

Опять наступило молчание. Маэ был готов. С минуту он постоял, потом глухо промолвил:

– Что поделаешь? Уж как оно есть... Постарайся сварить хоть супу... Словами делу не поможешь, лучше уж идти на работу.

– Правильно, – ответила она. – Задуй свечу: нечего мне своими думами любоваться.

Он погасил свечу. Захария и Жанлен уже спускались по лестнице; отец пошел за ними; деревянная лестница скрипела под их тяжелыми ногами, обутыми в одни шерстяные чулки. Лестничный проход и комната снова погрузились во мрак. Дети спали, даже Альзира смежила веки. Только мать лежала в темноте с открытыми глазами. Эстелла жадно сосала ее отвислую грудь, мурлыча, как котенок.

Внизу Катрина прежде всего позаботилась разжечь огонь; в камине с чугунной решеткой посередине и с двумя печными трубами по бокам постоянно горел каменный уголь. Компания выдавала на каждую семью по восемьсот литров угля в месяц. Но это был твердый уголь, подобранный в штольнях, – он с трудом разгорался, и поэтому девушка прикрывала огонь по вечерам, чтобы утром оставалось только разгрести жар и подбросить несколько мелких кусков отборного угля. Поставив на решетку котелок, она присела на корточки перед буфетом.

Весь нижний этаж занимала довольно большая комната. Стены ее были выкрашены зеленой краской, пол, выстланный плитами, вымыт и посыпан белым песком. Здесь царила фламандская чистота. Мебель, кроме полированного соснового буфета, состояла из такого же стола и стульев. На стенах были наклеены яркие лубочные картинки: портреты императора и императрицы, раздававшиеся Компанией, солдаты и изображения святых с позолотой. Все это резко выделялось на фоне светлых голых стен. Кроме розовой картонной коробки на буфете и настенных часов с грубо размалеванным циферблатом, не было больше никаких украшений; громкое тикание гулко раздавалось под потолком. Возле двери на лестницу была еще одна дверь, которая вела в погреб. Несмотря на чистоту, в комнате со вчерашнего дня стоял запах жареного лука; в спертом, тяжелом воздухе постоянно ощущалась едкость каменного угля.

Сидя на корточках у раскрытого буфета, Катрина раздумывала: оставалась только краюха хлеба, довольно много сыра, но очень мало масла; между тем надо было приготовить

бутерброды на четверых. Наконец она решилась: нарезала хлеб ломтиками, положила на один сыр, мазнула другой маслом и сложила их вместе, – это было «огниво», двойная тар-тинка, которую рабочие брали ежедневно в шахты. Вскоре четыре таких бутерброда были разложены на столе; размеры их были строго определены: самый большой для отца, самый маленький для Жанлена.

Катрина, казалось, с головою ушла в хозяйственные заботы; и все же она продолжала думать о том, что рассказывал Захария про старшего надзирателя и про жену Пьеррона; приотворив входную дверь, она выглянула наружу. Ветер бушевал по-прежнему, в низких домиках поселка светилось уже много окон, слышался глухой предутренний шум. Отворялись двери; темные вереницы рабочих удалялись во мраке ночи. Как глупо морозить себя: нагрузчик, конечно, преспокойно спит и пойдет на работу к шести часам! И все-таки девушка продолжала стоять, глядя на дом по ту сторону сада. Дверь отворилась, и любопытство Катрины разгорелось еще больше. Нет, это Лидия, младшая дочь Пьеррона, уходила на работу.

Шипение пара заставило Катрину обернуться. Она захлопнула дверь и побежала бегом: вода вскипела и залила огонь. Кофе больше не было, пришлось развести вчерашнюю гущу; она подсыпала в кофейник сахарного песка. Отец и оба брата сошли вниз.

– Эх, черт! – ругнулся Захария, хлебнув из своей кружки. – От такого пошла голова кругом не пойдет!

Маэ покорно пожал плечами:

– Что ж! Горячо и ладно.

Жанлен подобрал крошки хлеба и ссыпал их в чашку. Кончив пить, Катрина разлила остаток из кофейника по жестяным фляжкам. Все четверо поспешно глотали кофе стоя, при слабом свете нагоревшей свечи.

– Скоро ли, наконец! – воскликнул отец. – Можно подумать, что тут все богачи.

Сверху послышался голос – дверь на лестницу осталась открытой, – это кричала мать:

– Забирайте весь хлеб, у меня есть для детей немного вермишели.

– Да, да! – ответила Катрина.

Она прикрыла огонь и поставила на угол решетки котелок с остатками супа, чтобы дед, вернувшись в шесть часов, нашел его теплым. Каждый достал из-под буфета свою деревянную обувь, перекинул через плечо фляжку на веревке и засунул на спину, между рубашкой и блузой, свой ломоть хлеба. Затем они вышли – мужчины впереди, девушка за ними; уходя, она погасила свечу и повернула ключ в замке. Дом опять погрузился во тьму.

– Эй, вы! Пойдемте-ка вместе, – проговорил человек, запиравший дверь соседнего дома.

Это был Левак со своим двенадцатилетним сыном Бебером, большим приятелем Жанлена. Катрина удивилась и чуть не прыснула со смеху.

– Что такое? – сказала она Захарии на ухо. – Бутлу даже не дождался, пока муж уйдет!

Теперь огни в поселке начали гаснуть. Захлопнулась последняя дверь; все снова погрузилось в сон; женщины и дети досыпали, разлегшись на освободившихся кроватях. По дороге от затихшего поселка к тяжело пытящему Воре тянулась под налетающим ветром медленная вереница теней: это шли на работу, толкая друг друга, углекопы; они не знали, куда девать руки, и скрещивали их на груди; за спиной у каждого вырастал горб от запрятанного ломтя хлеба. Одетые в блузы из тонкого холста, они дрожали от холода, но не торопились; толпа в беспорядке двигалась по дороге, топоча, словно стадо.

III

Этьен наконец спустился с холма и направился в Воре. Люди, которых он спрашивал насчет работы, качали головой и советовали ему дожждаться главного штейгера. Этьена никто не останавливал, и он расхаживал среди слабо освещенных строений со множеством черных пролетов; расположение этих многоэтажных зданий было очень запутанное. Возбравшись по темной полуразрушенной лестнице и перейдя шаткий мостик, он очутился в сортировочной; здесь был полный мрак, и Этьен пошел, вытянув руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь. Внезапно перед ним во тьме вспыхнули два огромных желтых глаза. Он был в башне, в приемочной, у самого спуска в шахту.

Один из штейгеров, дядюшка Ришомм, толстяк с седыми торчащими усами, похожий на жандарма, вошел в эту минуту и направился в приемочную контору.

– Не потребуется ли здесь рабочий, все равно на какую работу? – спросил Этьен.

Ришомм собирался уже сказать «нет», но раздумал и, проходя дальше, ответил, как и другие:

– Дождитесь главного штейгера, господина Дансарта.

Горели четыре фонаря с рефлекторами; весь свет был сосредоточен на входе в шахту; виднелись ярко освещенные железные перила, ручки сигнальных аппаратов и тормозов, толстые доски, между которыми скользили две клетки подъемной машины. Вся остальная часть громадного помещения, похожего на внутренность церкви, тонула в полумраке, и там двигались большие тени. Светло было только в ламповом отделении в глубине, а в приемочной конторе горела, словно меркнущая звезда, лишь небольшая лампа. Доставка угля снизу только что началась. По чугунным плитам с сильным грохотом непрерывно катились вагоны с углем; за ними шли откатчики, и можно было различить их длинные согнутые спины; кругом в общем гуле все эти черные грохочущие предметы и фигуры двигались безостановочно.

Этьен с минуту стоял неподвижно; его оглушило и ослепило. Он совсем зачленел, так как отовсюду проникали струи холодного воздуха. Затем он сделал несколько шагов: внимание его привлекла машина, сверкавшая стальными и медными частями. Она находилась в более высоком помещении, в двадцати пяти метрах от спуска в шахту, и работала на всех парах, развив всю свою мощь в четыреста лошадиных сил, плавно вздымая и опуская огромный шатун; она была так прочно установлена на кирпичном фундаменте, что не ощущалось ни малейшего дрожания стен. Машинист, держась за рычаг регулятора, прислушивался к сигнальным звонкам, не спуская глаз с указательной таблицы, на которой были изображены различные этажи шахты; по вертикальным желобкам, пересекавшим таблицу, поднимались и опускались гирьки на шнурах, представлявшие клетки подъемной машины. При отправлении, как только машину пускали в ход, начинали вращаться два громадных барабана, в пять метров радиусом каждый; колеса их наматывали и разматывали в противоположном направлении два стальных каната; они вращались с такой быстротой, что казались столбом серой пыли.

– Эй, берегись! – крикнули трое откатчиков, тащивших громадную лестницу.

Этьена чуть не раздавили. Глаза его освоились с темнотой, и он смотрел, как в воздухе скользили стальной лентой канаты, более тридцати метров длины; они взвивались в высоту башни, перекидывались через шкивы, а затем отвесно опускались в шахту с прицепленными к ним клетями подъемной машины. Шкивы были укреплены на железных стропилах, подобных стропилам на колокольне. Канаты скользили бесшумно и плавно, как птица в полете; это было стремительное движение, безостановочный подъем и спуск огромной толстой про-

волоки, которая могла поднять со скоростью десяти метров в секунду груз до двенадцати тысяч килограммов.

– Эй, ты там, берегись! – снова закричали откатчики; они устанавливали лестницу с другой стороны, чтобы проверить левый шкив.

Этьен медленно вернулся в приемную. Он был ошеломлен этим мощным полетом над его головою. Дрожа от сквозного ветра, он стал смотреть, как двигались клетки подъемной машины; в ушах у него звенело от грохота вагонеток. У самого спуска в шахту действовал сигнальный аппарат – тяжелый молот с рычагом; когда снизу дергали за веревку, он ударял в било. Один удар означал остановку, два удара – спуск, три удара – подъем; эти тяжелые удары непрерывно раздавались посреди общего гула; вслед за ними сейчас же слышался звонкий колокольчик. Приемщик, управлявший движением подъемной машины, еще увеличивал шум, выкрикивая в рупор приказания машинисту. В этой суматохе появлялись и опускались клетки, их опоражничали, и они снова поднимались нагруженными. Этьену трудно было разобраться в этой сложной работе.

Он понимал только одно: пасть шахты непрерывно поглощала от двадцати до тридцати человек разом, притом с такой легкостью, что это, казалось, проходило совершенно незаметно. Спуск рабочих начался с четырех часов. Они приходили из барака босиком с лампочками в руках и стояли небольшими группами, ожидая, пока не наберется достаточное количество людей. Бесшумно, мягким крадущимся движением ночного хищного зверя, из темноты всплывала железная клеть и, затормозив ход, останавливалась. В каждом из четырех ярусов клетки стояло по две вагонетки, наполненных углем. Откатчики вытаскивали их по особым мосткам и заменяли другими, порожними, или с заранее нагруженными досками. В пустые вагонетки становились рабочие, по пяти человек в каждую; порою спускали сорок человек сразу, если они занимали все свободные вагонетки. Раздавалось глухое и невнятное мычание – это выкрикивался в рупор приказ; четыре раза дергали сигнальную веревку, ведущую вниз, – это называлось «говядина едет» – предупреждение о человеческом грузе. Клеть, слегка дрогнув, бесшумно погружалась, падала, как камень, не оставляя за собою ничего, кроме бегущего вниз дрожащего каната.

– Глубоко? – спросил Этьен у одного шахтера, который стоял возле него и с сонным видом ждал своей очереди.

– Пятьсот пятьдесят четыре метра, – ответил тот. – Но там проходят четыре яруса один над другим, первый на глубине трехсот двадцати метров.

Оба замолчали, глядя на поднимающийся канат.

– А если он оборвется? – спросил Этьен.

– Ну, коли оборвется...

Шахтер закончил фразу жестом. Пришла его очередь; клеть опять поднялась легко и плавно. Он влез в нее вместе с другими товарищами; клеть погрузилась, и не прошло четырех минут, как она появилась снова, чтобы поглотить другую партию людей. В течение получаса шахта таким образом проглатывала людей то быстрее, то медленнее, смотря по глубине яруса, куда они опускались, но безостановочно и алчно, как бы набивая свои исполинские кишки, способные переварить целый народ. Клеть все наполнялась и наполнялась, а мрак оставался по-прежнему беспросветным, и она поднималась из бездны все так же беззвучно и жадно.

Время шло, и Этьеном овладела прежняя тревога, которую он уже испытал там, на откосе. Чего добиваться? Старший штейгер ответит ему то же, что и другие. Безотчетный страх заставил его внезапно повернуться и уйти; он остановился только перед котельной. Дверь ее была широко распахнута, и Этьен увидел семь котлов с двумя топками. Утопая в клубах белого пара, вырывавшегося со свистом из щелей, кочегар подкладывал уголь в одну из топок; жар доходил до самого порога. Обрадовавшись, что можно погреться, Этьен

хотел подойти ближе, но в это время заметил новую партию углекопов, направлявшихся в шахту. Это было семейство Маэ и Леваки, отец с сыном. Когда Этьен увидел Катрину, которая шла впереди и показалась ему приветливым мальчиком, у него явилась суеверная мысль – попытаться спросить в последний раз.

– Скажите, товарищ, не потребуется ли тут где-нибудь рабочий, на любую работу?

Катрина с удивлением поглядела на него, немного испуганная голосом, который так внезапно раздался из темноты. Но Маэ, шедший за нею, тоже слышал; он ответил, остановился и поговорил с Этьеном. Нет, тут никого не требуется. Бедняга-рабочий, переходящий с места на место в поисках работы, заинтересовал его. Расставшись с ним, Маэ сказал, обращаясь к другим:

– Да! Это со всяким может случиться... Нечего жаловаться: все кругом без работы ходят, хоть подохни...

Рабочие направились в барак. Это было обширное, грубо оштукатуренное помещение. По стенам стояли шкафы, запертые на всяческие замки; в середине – железная жаровня, нечто вроде печки без заслонки, раскаленная докрасна; она была доверху набита углем, так что куски его с треском вываливались на земляной пол. Барак освещался только этой жаровней; кровавые отсветы дрожали на замусоленном дереве шкафов и на стенах вплоть до самого потолка, покрытого черной пылью.

Когда семья Маэ вошла в жаркий барак, там раздавался громкий хохот. Человек тридцать рабочих стояли и грелись с довольным видом, повернувшись спиной к огню. Перед спуском все заходили сюда погреться, набраться как следует тепла, чтобы бодрее приступить к работе в сырой шахте. В то утро в бараке царило исключительное веселье. Рабочие подтрунивали над восемнадцатилетней откатчицей Мукеттой: у этой девушки были такие огромные груди и зад, что ее блуза и штаны, казалось, готовы были треснуть. Она жила в Рекийяре с отцом – старым конюхом Муком, и братом Муке – откатчиком; но часы работы у них не совпадали, и потому она отправлялась в шахту одна. Вот тут-то, летом – забравшись в рожь, зимою – у какой-нибудь ограды, она и забавлялась без особых последствий со своим очередным любовником, которые менялись каждую неделю. У нее перебивали все шахтеры; это была настоящая дружеская круговая чаша. Однажды ее упрекнули в том, что она гуляла с кузнецом из маршьеннской гвоздарни. Мукетта была вне себя от гнева и кричала, что до этого она не опустится; она готова дать руку на отсечение, что никто никогда не видал ее ни с кем, кроме углекопов.

– Так ты уж больше не с долговязым Шавалем? – спросил ее, подсмеиваясь, один из шахтеров. – Того карапуза подцепила? Да ведь ему лестницу подставлять надо. Я вас обоих за Рекийяром видел; он на камень влезал!

– Ну, и что дальше? – добродушно отвечала Мукетта. – Тебе какое дело? Тебя ведь не звали, чтобы ты его подсаживал.

Эти грубоватые, незлобивые шутки вызывали у рабочих новые взрывы смеха, от которого тряслись их плечи, вдоволь пожарившиеся у огня. Мукетта сама хохотала, расхаживая среди них с забавно смущенным видом в своей нескромной одежде, обтягивавшей ее округлое, почти болезненно полное тело.

Но веселье кончилось, как только Мукетта сообщила Маэ, что Флеранса, долговязая Флеранса, больше не придет: накануне ее нашли мертвой в постели; одни говорят – от разрыва сердца, другие – от литра можжевелевой водки, которую она выпила зараз. Маэ был в отчаянии: опять незадача, – он лишился одной из своих откатчиц и не мог тотчас же ее заменить. Он работал в артели, а там было четверо забойщиков: он, Захария, Левак и Шаваль. Если у них останется откатчицей одна Катрина, работа пострадает. Вдруг он вскрикнул:

– Постойте-ка! А человек, искавший работу?

Мимо барака проходил Дансарт. Маэ сообщил ему о случившемся и попросил разрешения нанять этого человека; он особенно упирал на то, что Компания сама склонна заменять откатчиц мужчинами, как в Анзене. Главный штейгер сперва улыбнулся: проект снятия женщин с работы в шахтах вызывал отпор у самих же углекопов, — они заботились о том, чтобы пристраивать на место своих дочерей; вопросы морали и гигиены мало их занимали.

Наконец после некоторого колебания Дансарт позволил, с тем, однако, чтобы окончательное разрешение было дано инженером Негрелем.

— Что толку! — проговорил Захария. — Уж он, верно, далеко, раз нигде не мог найти работы!

— Нет, — возразила Катрина, — я только что видела, как он остановился у котельной.

— Так сбегай за ним, бездельница! — крикнул Маэ.

Девушка бросилась бежать. Поток углекопов направился тем временем к шахте, уступая место у огня другим. Жанлен, не дожидаясь отца, пошел за своей лампочкой в сопровождении толстого простодушного паренька Бебера и тщедушной десятилетней девочки Лидии. Мукетта шла впереди них; на темной лестнице она обозвала их паскудниками и пригрозила надавать им оплеух, если они будут щипаться.

Этьен в самом деле оказался в котельной; он разговаривал с кочегаром, который подкладывал в топку уголь. Ему стало холодно при мысли, что опять придется брести во мраке ночи. Он уже решил уйти, но в этот миг почувствовал, как на плечо ему легла чья-то рука.

— Идите-ка за мною, — сказала Катрина. — Там есть кое-что для вас.

Сперва, он не понял. Потом его охватила безудержная радость, и он крепко пожал руку девушке.

— Спасибо, товарищ... Какой же вы, кстати сказать, добрый малый!

Катрина засмеялась, разглядывая его при красном свете топок. Ее забавляло, что парень принимал ее за мальчика, — она была очень худощава, а длинные волосы скрывал чепец. Этьен тоже смеялся от удовольствия, и оба с минуту стояли друг перед другом, весело хохоча; щеки у них пылали.

Тем временем в бараке, присев на корточки перед своим шкафом, Маэ снимал обувь и грубые шерстяные чулки. Когда Этьен подошел, они порешили все с двух слов: тридцать су в день; работа утомительная, но он к ней скоро привыкнет. Забойщик посоветовал Этьену остаться в башмаках и дал ему старую кожаную шапку, чтобы предохранить голову от ушибов; отец и сын пренебрегали этой мерой предосторожности. Затем из шкафчика были вынуты инструменты; там же находилась и лопатка Флерансы. После этого Маэ, спрятав в шкаф обувь, чулки, а также узелок Этьена, вдруг вышел из себя от нетерпения:

— Куда он запропастился, эта негодная кляча Шаваль? Опять, наверное, повалил какую-нибудь девчонку на кучу камней!.. Мы на полчаса сегодня опоздали.

Захария и Левак преспокойно грели себе спины. Наконец первый сказал:

— Это ты Шавалья ждешь?.. Он пришел раньше нас, только что спустился в шахту.

— Как? Ты это знал и до сих пор мне ничего не сказал! Идемте! Живей!

Катрине, гревшей у огня руки, пришлось идти вместе со всеми. Этьен пропустил ее вперед и пошел за нею. Он опять очутился в лабиринте лестниц и темных переходов, где босые ноги ступали мягко, словно в стоптанных туфлях. Ламповое отделение горело ярким светом; это было застекленное помещение со стойками, на которых рядами в несколько ярусов стояли сотни лампочек Деви, накануне проверенных и вычищенных; все они пылали, словно свечи в сияющей часовне. У окошечка каждый рабочий брал свою лампочку, помещенную его номером, осматривал ее и собственноручно закрывал, а сидевший за столом табельщик отмечал в регистрационной книге время отправления в шахту. Маэ пришлось самому выхлопотать лампочку для своего нового откатчика. Затем была еще одна процедура: рабочие проходили мимо особого контролера, проверявшего, хорошо ли закрыты лампы.

– Брр!.. Не очень-то здесь тепло, – пробормотала Катрина, дрожа от холода.

Этьен только кивнул головой. Они очутились у спуска в шахту, посреди обширного помещения, где разгуливал ветер. Он считал себя человеком мужественным, но все же неприятное чувство страха стеснило ему грудь, когда вокруг него снова загрохотали вагонетки, раздались глухие удары сигнального молота, сдавленный рев рупора и когда он увидел перед собою непрестанно бегущие канаты, которые быстро наматывались и разматывались барабанами подъемной машины. Клетки поднимались и опускались, беззвучно скользя, словно крадущийся ночью хищный зверь, унося все новые и новые партии людей; казалось, их проглатывала пасть шахты. Теперь наступал его черед; ему было холодно, он напряженно молчал. Захария и Левак подсмеивались над ним: они не одобряли найма этого незнакомца, – в особенности Левак, задетый тем, что с ним предварительно не посоветовались. Катрина обрадовалась, услышав, как отец принялся объяснять Этьену устройство машины:

– Вот, смотрите: над клетью устроен парашют, а если канат лопнет, эти железные зубья вопьются в деревянные брусья. Ну, да это не так часто случается... Шахтный колодец разделен на три части; они отгорожены друг от друга досками сверху донизу; посередине движутся клетки, а слева идут лестницы...

Но тут он прервал свои объяснения и начал ворчать, не смея, однако, слишком возвысить голос:

– Чего же это мы тут канителиться, черт возьми! Не дело этак морозить людей!

Штейгер Ришомм, с яркой, без сетки, лампочкой, прикрепленной к кожаной шапке, тоже собирался спуститься в шахту; он услышал ворчание Маэ.

– Легче! У стен есть уши! – отеческим тоном проговорил старый шахтер, который и теперь, сделавшись штейгером, не перестал быть товарищем для своих. – Все должно идти своим чередом... Ну вот, теперь и нам можно; влезайте все.

В самом деле, перед ними была клеть, обитая железными полосами и забранная с боков частой решеткой; она остановилась и ждала их. Маэ, Захария, Левак и Катрина влезли в одну из нижних вагонеток, а так как в ней должно было поместиться пять человек, то к ним присоединился и Этьен. Но все хорошие места были уже заняты, и ему пришлось стать кое-как возле девушки, локоть которой упирался ему в живот. Лампочка мешала ему; кто-то посоветовал прицепить ее к пуговице блузы. Он не слышал и продолжал держать ее в руке, хотя это было неудобно. Нагрузка продолжалась, людей напихивали все больше и больше, как скот. Клеть все не отправляли. Что там произошло? Этьену казалось, будто он ждет бесконечно долго. Но вот его встряхнуло, все померкло, окружающие предметы стали уплывать, голова закружилась от быстрого спуска, и он испытывал мучительную тошноту. Так продолжалось, пока они двигались на свету, проходя два яруса приемочной, где вокруг них, казалось, кружились и бежали железные переплеты. Затем клеть погрузилась во мрак шахты. Этьен был совершенно ошеломлен и уже не мог дать себе ясного отчета в испытываемых ощущениях.

– Вот и отправились, – спокойно проговорил Маэ.

Все чувствовали себя как ни в чем не бывало. А Этьен порою не понимал, опускаются они или поднимаются. Иногда наступали мгновения как бы полной неподвижности, – это было, когда клеть падала отвесно, не задевая боковых брусьев; но вслед за тем начинались резкие толчки, словно клеть плясала между досками, и Этьен стал бояться крушения. В скудном свете лампочек он различал только сгрудившиеся тела. Лишь в соседней вагонетке яркая лампочка штейгера сверкала, как маяк.

– Здесь четыре метра в диаметре, – продолжал объяснять Маэ. – Обшивку давно следовало бы починить, – вода просачивается отовсюду... Вот! Мы как раз на этом уровне, слышите?

Этьен недоумевал, откуда этот шум – будто шел проливной дождь. Сначала на крышу клетки упало несколько крупных капель, как при начале ливня; потом дождь стал все усили-

ваться и перешел в настоящий поток. Крыша клетки, очевидно, продырявилась: струя воды падала на плечи Этьену и промочила его до нитки. Холод становился нестерпимым; клеть погружалась в сырой мрак. Но вот перед ними внезапно, как молния, промелькнула освещенная пещера, по которой двигались люди, и все снова утонуло во мраке.

– Это первый ярус, – сказал Маэ. – Мы на глубине трехсот двадцати метров... Смотрите, какая быстрота!

Подняв лампочку, он осветил один из боковых брусьев, который убегал, словно рельсы из-под поезда, мчащегося на всех парах; кроме этого, по-прежнему ничего не было видно. Внезапными просветами мелькнули еще три яруса. В потемках не переставая шумел проливной дождь.

– Как глубоко! – пробормотал Этьен.

Ему казалось, что спуск длится уже несколько часов. Было мучительно неудобно, он не мог пошевелинуться, да еще локоть Катрины не давал ему покоя. Она не произносила ни слова. Этьен только ощущал ее возле себя, и это его согревало. Когда клеть наконец остановилась на глубине пятисот пятидесяти четырех метров, он очень изумился, узнав, что спуск продолжался ровно минуту. Грохот задвижек, привычное ощущение твердой почвы под ногами внезапно развеселили его, и он шутя заговорил с Катриной на «ты».

– Что у тебя там под кожей, что ты такой горячий? У меня до сих пор в животе от твоего локтя неладно.

Она тоже расхохоталась. Ну, как он глуп, что все еще принимает ее за мальчика! Что у него, глаз, что ли, нет?

– Это у тебя в глазах неладно, – проговорила она, смеясь; молодой человек изумился, но опять ничего не понял.

Клеть опустела, рабочие перешли в помещение для нагрузки угля. Это было нечто вроде зала, высеченного в скале и укрепленного кирпичным сводом; его освещали три больших лампы без предохранительных сеток. Нагрузчики поспешно катили по чугунным плитам полные вагонетки. От стен исходил запах погреба, селитряная сырость; из соседней конюшни порою тянуло теплым воздухом. Отсюда расходились четыре зияющие галереи.

– Сюда, – сказал Маэ, обращаясь к Этьену. – Вы еще не на месте, нам надо пройти добрых два километра.

Рабочие разделились на группы и стали постепенно исчезать в глубине черных проходов. Человек пятнадцать направились налево, Этьен шел последним, вслед за Маэ, а перед ним – Катрина, Захария и Левак. Это была прекрасная галерея, удобная для откатывания, пробитая в таком твердом пласту, что ее лишь кое-где приходилось укреплять. И они шли, все шли, один за другим, не говоря ни слова; лампочки еле освещали путь. Молодой человек спотыкался на каждом шагу, рельсы мешали ему идти. Он с тревогой прислушивался к глухому шуму, подобному гулу отдаленной бури; шум все усиливался, – казалось, он вырывался из недр земли. Вдруг это грохот обвала, и он сокрушит у них над головами всю огромную толщу, отделяющую их от дневного света? Но вот в потемках что-то замерцало, и Этьен почувствовал, что почва дрожит. Он и его спутники выстроились вдоль стены, и мимо них прошла большая белая лошадь; она тащила поезд из вагонеток. На передней вагонетке, держа вожжи, сидел Бебер; за последней, упершись руками в борт, бежал босиком Жанлен.

Они снова пошли. Через некоторое время показался перекресток; от него ответвлялись две новые галереи. Рабочие опять разбились на более мелкие группы и разошлись малопомалу по всем ходам шахты, где производились работы. Здесь галерея была уже вся укреплена; рыхлый свод, обшитый досками, поддерживался дубовыми подпорками; между ними виднелись слои шифера с блестками слюды и грузные массы тусклого шероховатого песка. Поезда вагонеток, то нагруженных, то пустых, беспрестанно с грохотом проходили мимо них, встречались и уходили в темноту; их тащили лошади, которые двигались, словно

призраки. В одном месте путь раздваивался. Здесь дремал остановившийся поезд, похожий на спящую черную змею; лошадь фыркала; во мраке ее едва можно было различить: туловище ее казалось глыбой, выпавшей из свода. То и дело отворялись и медленно затворялись вентиляционные двери. По мере того как углекопы продвигались вперед, галерея становилась все уже, все ниже; потолок был неровный, и приходилось беспрестанно нагибаться.

Этьен больно ушиб голову. Если б не кожаная шапка, он раскроил бы себе череп. Он стал внимательно следить за всеми движениями Маэ, шедшего перед ним: его сумрачный силуэт обрисовывался при мерцании лампочек. Из рабочих никто не ушибся, – они, верно, знали каждую перекладину деревянных креплений, каждый выступ камня. Этьена сильно затрудняла скользкая почва под ногами; чем дальше, тем она становилась сырее. Но больше всего изумляли его резкие скачки температуры. В глубине шахтного колодца было очень свежо, а в галерее, по которой проходил поток воздуха, дул резкий, холодный ветер, ревавший в узких стенах, словно буря. По мере того как они углублялись в другие штольни, куда проникало лишь немного воздуха из вентиляторов, ветер прекращался, наступала душливая, гнетущая жара.

Маэ молчал. Только поворачивая направо, в новую галерею, он, не оборачиваясь, сказал Этьену:

– Жила Гийома.

На этом пласту работала их партия. С первых же шагов Этьен расшиб себе голову и локти. Покатый потолок спускался так низко, что на протяжении двадцати или тридцати метров ему пришлось идти, согнувшись вдвое. Вода доходила до щиколоток. Так они прошли двести метров, и вдруг Левак, Захария и Катрина исчезли у него на глазах, как будто их поглотила узкая расщелина, открывшаяся перед ним.

– Надо подняться туда, – сказал Маэ. – Прицепите лампочку к пуговице и лезьте, держась руками за бревна.

Сам он исчез. Этьен должен был следовать за ним. Эта расщелина в пласту служила проходом для углекопов; через нее можно было попасть во все боковые штольни. Расщелина была не шире самого угольного пласта и едва достигала шестидесяти сантиметров. Хорошо еще, что Этьен был худощав; и все же он, с непривычки, затрачивал очень много сил, подвигаясь вперед. Весь съежившись, он толкался плечами и бедрами о стенки и хватался за бревна. Поднявшись метров на пятнадцать, они достигли первого бокового прохода; но пришлось пробираться еще дальше: забой Маэ и его товарищей находился в шестом ярусе, – в преисподней, как они выражались. Штольни следовали одна над другой, приблизительно через каждые пятнадцать метров, а конца этой щели все не было. От подъема надрывались спина и грудь. Этьен выбился из сил, как будто порода своей тяжестью раздавила ему все тело; руки у него покрылись ссадинами, ноги были разбиты, к тому же он задыхался и чувствовал, как кровь приливает к голове. В одной штольне он смутно различил два скорченных существа, кативших вагонетки, – одно щуплое, другое толстое: то были Лидия и Мукетта, уже начавшие работать. А ему оставалось лезть еще два яруса! Пот слепил глаза, он отчаялся догнать своих спутников, чьи ловкие тела, казалось, так и скользили по пласту.

– Ну вот, мы уже пришли! – послышался голос Катрины.

Но когда он действительно добрался до цели, другой голос закричал из глубины штольни:

– В чем дело? Что, вам на других наплевать, что ли? Мне из Монсу два километра идти, а я раньше вас на месте!

Это крикнул Шаваль, высокий худой парень двадцати пяти лет, костлявый, с резкими чертами лица. Он злился оттого, что его заставили ждать.

Увидав Этьена, он спросил удивленно и презрительно:

– Это еще что?

И когда Маэ рассказал ему о случившемся, он процедил сквозь зубы:

– Так. Значит, теперь парни у девок хлеб отбивают!

Этьен и Шаваль обменялись взглядом инстинктивной, внезапно загоревшейся ненависти. Этьен безотчетно почувствовал, что его оскорбили. Воцарилось молчание; все принялись за работу. Галереи мало-помалу наполнились, партии людей заработали в каждом ярусе, в конце каждой штольни. Прожорливая шахта поглотила свою ежедневную порцию – около семисот рабочих. Теперь они все трудились в этом исполинском муравейнике, прокладывая повсюду в земле ходы, кроша ее, словно гнилое дерезе, источенное червями. В тягостном молчании дробили они глубокие пласты. Приложив ухо к скале, можно было бы услышать движение этих людей-насекомых, свист каната, поднимающего и опускающего клетки с углем, и звук орудий, высекающих каменный уголь в самых глубоких ходах.

Случайно повернувшись, Этьен оказался снова прижатым к Катрине. Но на этот раз он ощутил округлость ее зреющей груди и сразу понял, откуда исходила теплота, пронизывавшая все его существо, когда он касался ее тела.

– Так ты девушка? – тихо проговорил он, крайне изумленный.

Она весело ответила, не краснея:

– Ну, да!.. Не скоро же ты сообразил, право!

IV

Четверо забойщиков разместились, один над другим, во всю вышину забоя. Их отделяли друг от друга доски с крюками, на которых задерживался отбитый уголь; каждый рабочий занимал участок приблизительно в четыре метра длины. Пласт был так тонок, что едва достигал в этом месте пятидесяти сантиметров, и забойщики, пробираясь на коленях и на локтях, были как бы сплющены между сводом и стеной и при каждом повороте больно ударялись плечами. Во время работы в шахтах им приходилось лежать на боку, вытянув шею, подняв руки и орудуя кирками.

Внизу находился Захария; над ним разместились Левак и Шаваль, и наконец на самом верху работал Маэ. Они кирками пробивали борозды в шиферном слое, затем делали два вертикальных надреза в самом угольном пласту и наконец отсекали верхнюю часть глыбы железным заступом. Уголь был жирный, глыба разбивалась на мелкие куски, которые скапывались по животу и по ногам рабочего. Когда эти куски, задерживаемые досками, накапливались у них под ногами, забойщики исчезали, словно замурованные в узкой щели.

Хуже всех приходилось Маэ. Наверху температура достигала тридцати пяти градусов, приток воздуха отсутствовал, духота становилась невыносимой. Чтобы виднее было в темноте, ему пришлось повесить лампочку над самой головой; и лампочка эта так сильно припекала голову, что, казалось, вся кровь разливалась по телу жгучей лавой. Но особенное мучение причиняла сырость. Как раз над Маэ, в нескольких сантиметрах от его лица, просачивалась грунтовая вода, быстро падая в какому то упорном ритме крупными каплями на одно и то же место. Тщетно поворачивал он шею и закидывал голову назад: вода капала беспрерывно, заливая ему лицо. Через четверть часа он совершенно промок от пота и воды; от его одежды поднимался дымящийся влажный пар, как от белья во время стирки. В то утро капля попала старику прямо в глаз, и он даже выругался. Маэ не хотел бросать работу и продолжал ударять киркою изо, всех сил, так что все тело его сотрясалось. Лежа между двумя пластами угля, он похож был на тлю среди страниц толстого тома, которую вот-вот раздавит тяжесть.

Никто не произнес ни единого слова. Все работали; кругом слышались одни лишь неровные, заглушенные удары, доносившиеся как бы издалека. Звуки приобретали особую четкость, не будя отклика в застывшем воздухе. Мрак казался еще черней от летучей угольной пыли и газа, от которого темнело в глазах. Лампочки, прикрытые металлическими сетками, бросали лишь слабый красноватый отсвет. Ничего нельзя было различить; штольня зияла, уходя ввысь, как широкая печная труба, плоская и косая, в которой накопилась густая многолетняя сажа. В кромешной тьме этой трубы копошились какие-то призрачные фигуры. Слабый, мерцающий свет вырывал из темноты то округлость бедра, то жилистую руку, то свирепое лицо, измазанное до неузнаваемости, словно у злодея, идущего на разбой. Порой выступали из тьмы внезапно освещенные глыбы угля, деревянные перегородки и углы, сверкавшие, словно грани кристалла. И снова все погружалось во мрак; только раздавались глухие удары кирок, тяжелое дыхание да воркотня от усталости, невыносимой духоты и грунтовых вод.

Захария, обмякший после воскресной попойки, вскоре оставил работу под предлогом, будто ему надо подставить подпорки; это дало ему возможность отдохнуть, и он тихонько насвистывал, рассеянно глядя в темноту. Позади забойщиков осталось пустое пространство метра в три; тем не менее рабочие не позаботились укрепить глыбу, не думая об опасности и жалея рабочее время.

— Эй ты, белоручка! — крикнул молодой человек Этьену. — Давай сюда подпорки.

Этьену, которого Катрина обучала, как надо орудовать лопаткой, пришлось подавать доски, – оставался небольшой запас еще со вчерашнего дня. Доски были нарезаны по размеру каждого слоя угля, и обычно их спускали сюда по утрам.

– Да поворачивайся же, лентяй, черт тебя возьми! – крикнул Захария, видя, как новый откатчик неловко пробирается между грудями угля, неся в руках четыре дубовых бруска.

С помощью кирки забойщик делал одну зарубку в своде и другую в стене; затем с двух концов прокладывал бруски, которые подпирали глыбу. После обеда ремонтные рабочие расчищали галерею и засыпали отработанные слои жилы вместе с остатками брусков, оставляя свободными только верхние и нижние проходы, необходимые для откатки.

Маэ перестал ворчать. Ему удалось наконец отбить глыбу угля. Он отер рукавом обильный пот и обернулся взглянуть, что делает Захария у него за спиной.

– Брось, – сказал он. – После завтрака поглядим. Примемся лучше за работу, а то у нас не наберется положенного числа вагонеток.

– Дело в том, – промолвил молодой человек, – что тут начинает оседать. Посмотри, уже трещина. Боюсь, как бы не обрушилось.

Но отец пожал плечами. Какие пустяки! Ничего не обрушится! А потом, им ведь не впервой, вывернутся как-нибудь. В конце концов он рассердился и послал сына в глубь штольни. Впрочем, остальные тоже оставили работу. Левак, лежа на спине, бранился, рассматривая палец левой руки, ободранный до крови упавшим камнем. Шаваль с ожесточением стащил с себя рубашку и оголился по пояс, чтобы не было так жарко. Все они уже почернели от тонкой угольной пыли; смешавшись с потом, она текла с них темными струйками. Первым принялся за работу Маэ. Голова его приходилась ниже, на одном уровне с глыбой; вода каплями падала на лоб, и казалось, что она в конце концов просверлит ему череп.

– Не надо обращать на них внимания, – сказала Катрина Этьену. – Они вечно грызутся.

Девушка снова услужливо принялась его обучать. Каждая нагруженная вагонетка, появлявшаяся наверху, была отмечена особым жетоном, по нему приемщик мог занести ее в счет артели; поэтому надо нагружать очень внимательно и только чистым углем, иначе вагонетку могли не принять.

Молодой человек, глаза которого начинали привыкать к мраку, глядел на ее белое, бескровное лицо. Он никак не мог определить ее возраста; на вид ей можно было дать двенадцать лет, – до того она была хрупка. А между тем она казалась старше, держалась по-мужски развязно, с наивной дерзостью, и это несколько смущало Этьена. Ему не понравилась ее мальчишеская голова с бледным личиком, стянутая на висках чепцом. Но его поражала сила этой девочки, ее упругость и ловкость. Она наполняла свою вагонетку быстрее, чем он, равномерными и легкими взмахами лопатки; затем, одним толчком, плавно продвигала ее до ската, нигде не зацепляя и легко пробираясь под низкими сводами. Этьен же ушибался на каждом шагу, вагонетка сходила у него с рельсов. Он впадал в отчаяние.

В самом деле, дорога не отличалась удобством. От забоя до ската было метров шестьдесят, и ход, который рабочие еще не успели расширить, представлял собою настоящую траншею с очень неровным сводом и с частыми выступами. В некоторых местах нагруженная вагонетка едва могла пройти, и тогда откатчику приходилось пробираться на коленях, чтобы не размозжить себе голову. К тому же подпорки прогнулись и кое-где уже потрескались. Они были расщеплены в середине и местами торчали, как сломанные костыли. Надо было проходить крайне осторожно, чтобы не исцарапаться; и под тяжелым грузом оседавшей породы, от которого толстые дубовые брусья могли разлететься в щепы, люди ползали на животе в вечном страхе сломать себе шею.

– Опять! – произнесла, смеясь, Катрина.

Вагонетка Этьена сошла с рельсов в самом тяжелом месте прохода. Он никак не мог катить ее прямо по рельсам, врезавшимся во влажную землю; он бранился, выходил из себя и выбивался из сил, тщетно стараясь невероятными усилиями поставить колеса на место.

– Да погоди, – продолжала девушка. – Если будешь злиться, то ничего не выйдет.

Она ловко скользнула под вагонетку и одним усилием, спиной, приподняла ее и поставила на рельсы; вагонетка весила семьсот килограммов. Этьен, пораженный и пристыженный, лепетал какие-то извинения.

Катрина показала ему, как расставлять ноги, чтобы лучше упираться в подпорки, стоящие по обе стороны галереи. Тело должно быть наклонено вперед, руки вытянуты так, чтобы можно было толкать вагонетку соединенными усилиями всех мускулов рук и ног. Во время одного из таких путешествий Этьен последовал за ней и видел, как она шла, изогнувши все тело и держа руки так низко, что казалось, будто она ползет на четвереньках, подобно карлика, которых показывают в цирках. Пот лил с нее градом, девушка задыхалась, суставы хрустели, но она продолжала работать без единой жалобы, с привычным безразличием, как будто жизнь на четвереньках – общий удел этих несчастных. Ему же работа не давалась: башмаки жали, тело изнемогало оттого, что приходилось двигаться скорчившись, низко опустив голову. Через несколько минут такое положение становилось настоящей пыткой, мучительной и нестерпимой; и он опускался на колени, чтобы разогнуть спину и передохнуть хотя бы на мгновение.

В боковой штольне Этьена ждала новая работа: Катрина стала учить его, как прицеплять вагонетки. Вверху и внизу ската, обслуживавшего штольни во всех ярусах, находилось по одному подручному, – один спускал вагонетку сверху, а другой принимал ее внизу. Эти двенадцати – и пятнадцатилетние сорванцы перебрасывались непристойными словами; чтобы предупредить их, приходилось выкрикивать еще более яростные ругательства. Как только внизу появлялась пустая вагонетка, приемщик тотчас давал сигнал, откатчица прицепляла полную вагонетку, приемщик нажимал рычаг, и вагонетка опускалась, поднимая своей тяжестью другую, пустую. В нижней галерее образовывались целые поезда из нагруженных вагонеток; лошади подвозили их к подъемной машине.

– Эй вы, чертовы клячи! – крикнула Катрина в укрепленную балками галерею длиной в сто метров, где каждый звук отдавался, словно в гигантском рупоре.

Подручные, вероятно, отдыхали, – ни один не откликнулся. Во всех ярусах перевозка прекратилась. Послышался тонкий детский голос:

– Верно, они балуются с Мукеттой.

Отовсюду раздался громовой хохот, откатчицы во всей шахте держались от смеха за бока.

– Кто это? – спросил Этьен у Катрины.

Девушка ответила, что это Лидия, девчонка, прошедшая огонь и воду; вагонетку она катает не хуже взрослой женщины, несмотря на свои кукольные ручки. Ну, а Мукетта способна гулять с несколькими сразу.

Но вот снова раздался голос приемщика: он кричал, чтобы прицепляли. Вероятно, внизу проходил штейгер. Во всех девяти ярусах закипела работа; только и были слышны равномерные оклики подручных да сопение откатчиц; они добирались до галереи, запаренные, как кобылы, изнемогая под непомерной тяжестью груза. В этом было что-то скотское; шахтерами овладевала внезапная ярость самцов при виде девушек на четвереньках с выпяченным задом, в мужских штанах, обтягивающих бедра.

Возвращаясь, Этьен каждый раз попадал в духоту забоя, слышал глухие прерывистые удары кирок и глубокие, тяжкие вздохи забойщиков, изнемогавших на работе. Все четверо разделись догола и с головы до пят были вымазаны углем, превратившись в черную грязь. Раз пришлось высвободить задыхавшегося Маэ, поднять доски, чтобы спустить уголь. Заха-

рия и Левак проклинали угольный пласт, который становился все тверже, отчего работа с каждым днем делалась тяжелее. Шаваль иногда оборачивался, ложился навзничь и принимался бранить Этьена, чье присутствие явно его раздражало.

– Настоящий уж! У него меньше сил, чем у любой девчонки!.. Так-то ты думаешь нагрузить свою вагонетку? А? Ты, верно, бережешь руки... Помяни мое слово! Я у тебя вычту десять су, если по твоей милости у нас не примут хотя бы одну вагонетку!

Молодой человек не отвечал ни слова, счастливый тем, что ему удалось найти хотя бы эту каторжную работу, и терпеливо сносил грубую брань откатчика и старшего рабочего. Но он не в силах был больше двигаться: ноги его стерлись до крови, все тело сводили страшные судороги, туловище, казалось, стягивал какой-то железный пояс. К счастью, было десять часов, и забойщики решили, что пора завтракать.

У Маэ имелись часы, на которые он, впрочем, и не посмотрел. В этом беспросветном мраке он никогда, даже на пять минут, не ошибался. Все надели рубашки и блузы. Спустившись из штольни, они присели на корточки, пригнув локти к коленям, в привычном для шахтеров положении, обходясь без камня или бревна. Затем каждый принялся за свой завтрак, медленно откусывая от толстого ломтя; изредка углекопы перекидывались отдельными словами относительно утренней работы. Катрина ела стоя; через некоторое время она подошла к Этьену, который лежал поодаль, между рельсами, прислонясь к подпоркам. Там было почти сухо.

– Ты ничего не ешь? – спросила она с набитым ртом, держа в руке ломоть хлеба.

Вдруг она вспомнила, что он шел пешком всю ночь без гроша, а может быть, и без куска хлеба.

– Хочешь, я поделюсь с тобой?

Этьен дрожащим от голода голосом принялся уверять ее, что совсем не хочет есть. Тогда Катрина весело проговорила:

– Ну, если ты брезгаешь!.. погоди! Я откусила только с одной стороны, а тебе отломлю отсюда.

Она разломилась хлеб пополам. Молодой человек получил свою долю, и ему стоило большого труда не съесть всей порции сразу; он держал руки по швам, чтобы девушка не заметила, что он дрожит. Катрина спокойно, как добрый товарищ, растянулась возле него на животе; одной рукой она подпирала подбородок, а в другой держала бутерброд, от которого откусывала кусок за куском. Стоявшие между ними лампочки освещали их.

Катрина молча посмотрела на Этьена. Ей, видимо, нравилось его красивое, тонкое лицо с черными усами.

По губам ее бегло скользнула улыбка.

– Значит, ты механик и тебя прогнали с железной дороги. А за что?

– За то, что я дал пощечину начальнику.

Катрина остолбенела от такого ответа: она унаследовала понятия о подчинении и безусловном послушании.

– Должен сознаться, я тогда был пьян, – продолжал Этьен, – а когда я напиваюсь, то делаюсь бешеным и готов съесть и себя и других... Да, мне достаточно проглотить две рюмочки, чтобы у меня явилось желание сожрать человека... А потом я дня два бываю болен.

– Не надо пить, – серьезно проговорила она.

– Не беспокойся, уж я себя знаю!

И Этьен покачал головой. Он ненавидел водку, в нем говорило отвращение младшего отпрыска целого поколения пьяниц, которое алкоголем подорвало весь его организм; каждая капля водки становилась для него ядом.

– Мне только из-за матери и жаль, что меня выбросили на улицу, – сказал он, проглотив кусок. – Ей живется не больно сладко, а я все же посылал ей время от времени немного денег.

– А где живет твоя мать?

– В Париже... на улице Гут-д'Ор. Она прачка.

Наступило молчание. Когда Этьен вспоминал о матери, сознание беды, которую он натворил, и дальнейшая неизвестность острой тоской наполняли его здоровое молодое тело и затуманивали черные глаза. На мгновение он устремил взор в темную даль штольни. И вот здесь, в этой глубине, под душной тяжестью земли, перед ним встали образы детства: мать, еще молодая, красивая, брошенная отцом, снова вернувшимся к ней, когда она была уже женой другого; жизнь между этими двумя мужчинами, которые обедали ее, с которыми она опускалась в пьяном угаре все ниже и ниже, на самое дно. Этьен припомнил улицу, где они жили, и все подробности: грязное белье посреди прачечной, беспробудное пьянство, оплеухи, от которых трещали скулы.

– А теперь, – проговорил он медленно, – с тридцатью су в кармане не очень-то я ей помогу. Помрет, наверное, от нужды.

В безнадежном отчаянии он пожал плечами и снова принялся за свой ломоть.

– Хочешь пить? – спросила Катрина, откупоривая фляжку. – Тут у меня кофе, оно тебе не повредит. А то, если будешь есть всухомятку, у тебя пересохнет в горле.

Но Этьен отказался; довольно и того, что он взял половину ее хлеба. Катрина продолжала настаивать и наконец со своим обычным радушием промолвила:

– Хорошо, я выпью первая, раз уж ты такой церемонный... Но зато теперь тебе нельзя уже больше отказываться, это было бы гадко с твоей стороны.

И, приподнявшись на коленях, Катрина протянула ему фляжку. Этьен увидел тогда совсем близко от себя эту девушку, освещенную двумя лампочками. Почему он раньше находил ее некрасивой? Теперь, когда все лицо ее покрылось черной угольной пылью, она показалась ему особенно привлекательной. Полные губы полураскрыты; сверкали ослепительные зубы, оттеняя темный овал лица; большие глаза горели зеленоватым огнем, словно у кошки; прядь рыжих волос, выбиваясь из-под чепца, щекотала ей ухо, и она смеялась. Она уже не казалась такой малолетней, ей смело можно было дать четырнадцать лет.

– Разве, чтоб доставить тебе удовольствие, – сказал он, отпив из фляжки и отдавая ее Катрине.

Она хлебнула еще раз и заставила его проделать то же самое, чтобы обоим досталось поровну, как она сказала; странствование узкого горлышка фляжки от уст к устам забавляло их. Внезапно ему пришла в голову мысль схватить ее и поцеловать. Ее бледно-розовые полные губы, потемневшие от угля, вызывали в нем мучительное желание. Но он не решался, робая. В Лилле ему приходилось иметь дело только с проститутками, да притом еще самого низкого пошиба, и он совершенно не знал, как ему вести себя с работницей, которая к тому же живет в семье.

– Тебе, верно, лет четырнадцать? – спросил Этьен, снова принимаясь за хлеб.

Она чуть не рассердилась. Это ее удивило.

– Как четырнадцать! Мне уже пятнадцать!.. Правда, я мала ростом, у нас девушки растут очень медленно.

Он продолжал ее расспрашивать, а она рассказывала ему все без бахвальства и не стыдясь. Ей, по-видимому, были хорошо известны отношения между мужчиной и женщиной, но в то же время Этьен чувствовал, что тело ее не тронуто, она еще совсем ребенок, задержанный в своем развитии вследствие нездоровых условий, в каких ей приходилось жить. Когда он опять заговорил о Мукетте, думая смутить Катрину, она спокойно и весело принялась ему рассказывать самые невероятные истории. Да! Мукетта выкидывает такие штуки! А когда он спросил, нет ли у нее самой возлюбленного, Катрина шутя ответила, что не хочет огорчать мать, но в один прекрасный день это с ней неминуемо случится. Она сгорбилась,

слегка продрогнув, оттого что платье ее промокло от пота, и глядела покорно и нежно, готовая подчиниться обстоятельствам и людям.

– Когда живешь вместе со всеми, ведь легко найти себе любовника, не так ли?

– Конечно.

– И потом, ведь это никому не приносит вреда. Кюре об этом не рассказывают.

– Подумаешь, плевать мне на кюре!.. Но у нас тут есть Черный человек.

– Что еще за Черный человек?

– Старый шахтер, – он появляется в шахте и свертывает шеи наблудившим девушкам.

Этьен посмотрел на нее, думая, что она над ним смеется.

– И ты веришь таким глупостям? Значит, ты ничего не знаешь!

– Как же, я умею читать и писать. Это нам полезно; а вот когда папа и мама были детьми, их не учили.

Положительно, она очень мила. И Этьен решил, как только она покончит со своим бутербродом, обнять ее и поцеловать в полные розовые губы. Но он робел, мысль о насилии сдавливала ему горло. Мужской костюм, куртка и панталоны на этом девическом теле возбуждали и смущали его. Он проглотил последний кусок. Напившись из фляжки, он отдал ее девушке, чтобы та допила. Теперь наступил решительный момент, и Этьен с беспокойством покосился на сидевших углекопов, как вдруг из глубины показалась чья-то тень, заслонившая проход.

Шаваль уже несколько минут смотрел на них издали. Он приблизился и, убедившись, что Маэ его не видит, подошел к сидевшей на земле Катрине, схватил ее за плечи, запрокинул голову и зажал рот девушки грубым поцелуем. Он проделал это совершенно спокойно, притворяясь, что не замечает Этьена. В этом поцелуе было сознание собственника, решимость, движимая ревностью. Девушка возмутилась.

– Оставь меня, слышишь!

Шаваль, придерживая ее голову, глубоко заглянул ей в глаза. Рыжие усы и борода, казалось, пылали на его черном лице с большим крючковатым носом: Наконец он отпустил ее и молча отошел.

Холодная дрожь пробежала по всему телу Этьена. Как глупо, что он чего-то выжидал. И уж, конечно, теперь он ее не поцелует: Катрина еще, пожалуй, подумает, что он это сделал в подражание тому, другому. Оскорбленный в своем тщеславии, он испытывал настоящее отчаяние.

– Зачем ты солгала? – тихо спросил Этьен. – Он твой любовник?

– Да нет же, клянусь тебе! – воскликнула она. – Между нами ничего такого нет. Это просто смеха ради... Он даже и не здешний, а всего только полгода как прибыл из Па-де-Кале.

Надо было снова приниматься за работу; оба поднялись. Катрина как будто огорчилась, видя, что он так холоден. Она, несомненно, находила Этьена красивее Шавали и, быть может, предпочла бы его. Желание сказать ему что-нибудь ласковое и утешить его не давало ей покоя, и, заметив, что молодой человек с удивлением смотрит на свою лампочку, горящую синим огнем, окаймленным широкой бледной полосой, она попробовала по крайней мере развлечь его.

– Пойдем, я тебе кое-что покажу, – дружеским тоном сказала она.

Она отвела его в глубь забоя и показала ему трещину в слое угля. Там, казалось, что-то хлопотало, доносился слабый звук, похожий на щебетание птицы.

– Приложи руку, чувствуешь, как дует?... Это рудничный газ.

Он был поражен. Так вот оно, это ужасное вещество, от которого все взлетает на воздух! Она засмеялась, говоря, что на этот раз его очень много, – недаром лампочки горят синим огнем.

– Перестанете ли вы наконец болтать, бездельники! – грубо крикнул Маэ.

Катрина и Этьен поспешно нагроулили свои вагонетки и стали толкать их по направлению к скату, согнув спину, пробираясь ползком под неровными сводами штольни. Уже после вторичного путешествия пот лил с них градом, и кости снова хрустели.

В шахте забойщики возобновили работу. Часто они сокращали время завтрака, чтобы не простудиться; бутерброды, жадно съеденные вдали от солнечного света, ложились на желудки свинцовой тяжестью. Вытянувшись на боку, рабочие все сильнее рубили уголь, охваченные одним желанием – наполнить возможно большее число вагонеток. Все меркло перед бешеной жаждой заработка, добываемого таким тяжелым трудом. Углекопы уже не замечали стекавшей воды, от которой распухали руки и ноги, не чувствовали судорог от неудобного положения, душного мрака, где они чахли, подобно растениям в подземелье. Но время шло, воздух становился все ядовитее, накалялся от закоптевших лампочек, от человеческих испарений, от газа, туманя взор, словно паутина, – воздух, который только вентилятор сможет ночью очистить. А они там, в своей кротовой норе, под тяжестью земли, ощущая огонь в груди, все долбили и долбили.

V

Маэ, не глядя на часы, которые он оставил в кармане блузы, остановился и сказал:

– Скоро час... Готово, Захария?

Молодой человек только что принялся за крепление балок. В самый разгар работы он лежал на спине, с блуждающим взглядом, и вспоминал о том, как накануне играл в шары. Он очнулся и ответил:

– Да, хватит пока, завтра будет видно.

И он вернулся на свое место в забое. Левак и Шаваль тоже бросили кирки. Наступил перерыв. Все отирали лица голыми руками и смотрели на расщепленную глыбу, нависшую сверху. Они говорили только о своей работе.

– Такое уж нам счастье, – проворчал Шаваль, – как раз попасть на породу, которая обваливается!.. Не приняли мы этого в расчет при подряде.

– Мошенники! – проворчал Левак. – Только и думают, как бы нас провести.

Захария рассмеялся. Ему было наплевать на работу и на все прочее, но его всегда забавляло, когда начинали бранить Компанию. Маэ невозмутимо принялся объяснять, что качество породы меняется через каждые двадцать метров. Надо быть справедливым, ничего нельзя предвидеть. Но так как те двое продолжали ругать начальство, он беспокойно осмотрелся по сторонам:

– Тише, вы! Хватит!

– Ты прав, – сказал Левак, тоже понижая голос, – это опасно.

Страх перед доносчиками преследовал их даже здесь, на такой глубине, как будто у пластов каменного угля, принадлежавших акционерам, могли быть уши.

– Тем не менее, – громко заявил Шаваль с вызывающим видом, – если эта, свинья Дансарт опять заговорит со мной таким тоном, как в тот раз, я залеплю ему кирпичом в брюхо... Я ведь не мешаю ему тратить деньги на потаскушек с нежной кожей.

На этот раз Захария опять покатился со смеху. Вся шахта подтрунивала над любовными похождениями главного надзирателя с женой Пьеррона. Даже Катрина, стоявшая внизу штольни, опершись на лопатку, держалась за бока от смеха; она в двух словах объяснила Этьену, в чем дело. А Маэ, охваченный нескрываемым страхом, рассердился:

– Замолчишь ты!.. Ну, попадись мне только под руку!

Не успел он кончить, как из верхней штольни послышался шум шагов. Тотчас же появился инженер, заведующий копиями – малыш Негрель, как звали его между собою рабочие, – в сопровождении главного штейгера Дансарта.

– Что я вам говорил? – прошептал Маэ. – Они всегда вырастают, словно из-под земли.

Поль Негрель, племянник г-на Энбо, был худощавым красивым юношей лет двадцати шести, курчавым, с темными усами. Острый нос и живые глаза придавали ему сходство с хорьком, а любезность и несколько скептический ум приобретали властный, надменный оттенок в обращении с рабочими. Он был одет, как они, и так же перепачкан углем. Чтобы внушить уважение к себе, Негрель старался проявлять необычайную отвагу – пробирался в самые опасные места, всегда впереди, под угрозой обвала или взрыва рудничного газа.

– Здесь, не правда ли, Дансарт? – спросил он.

Старший штейгер, бельгиец, человек с жирным лицом, мясистым носом и чувственными ноздрями, ответил преувеличенно вежливо:

– Да, господин Негрель... Вон тот человек, которого наняли сегодня утром.

Оба спустились на середину штольни. Этьену велели подойти. Инженер приподнял свою лампочку и взглянул на него, ни о чем не спрашивая.

– Хорошо, – промолвил он наконец. – Терпеть не могу, когда берут с улицы совершенно неизвестных людей... Пожалуйста, чтобы этого больше не было.

И он не слушал, что ему говорили о характере работы, о необходимости заменить откатчиц мужчинами. Забойщики снова взялись за кирки, а Негрель принялся осматривать свод штольни. Вдруг он закричал:

– Послушайте, Маэ, вам жизнь не мила, что ли? Да вы все здесь останетесь на месте, пес вас возьми!

– Ничего, выдержит, – спокойно ответил рабочий.

– Да какое там выдержит! Порода уже оседает, а вы вбиваете подпорки на расстоянии более двух метров одну от другой, да и то нехотя! Все вы на один лад – предпочитаете раз-мозжить себе череп, чем оставить хоть на минуту забой и укрепить свод. Прошу немедленно все укрепить! Увеличьте число подпорок вдвое, слышите!

Возражения углекопов, говоривших, что они вольны располагать своей жизнью, привели его в бешенство.

– Так-с! А будете вы отвечать за последствия, если разобьете себе головы? Разумеется, нет! Поплатится за это Компания, которой придется обеспечить вас или ваших жен... Повторяю, я хорошо вас знаю: из-за того, чтобы добыть в день две лишние вагонетки, вы готовы пожертвовать собственной шкурой.

Маэ, несмотря на гнев, накипевший в нем, тихо сказал:

– Если бы нам достаточно платили, мы бы лучше делали крепления.

Инженер молча пожал плечами. Он прошел всю штольню и в самом низу крикнул:

– У вас остается час времени, принимайтесь все за работу; предупреждаю, что ваша артель будет оштрафована на три франка.

Слова инженера были встречены глухим ропотом. Шахтеров удерживала только дисциплина – та военная дисциплина, которая заставляла всех, начиная от подручного и кончая главным надзирателем, подчиняться друг другу. Впрочем, Шаваль и Левак не могли скрыть своего негодования; Маэ старался унять их взглядом, а Захария насмешливо пожимал плечами. Этьен был взволнован, быть может, больше всех. С тех пор как он находился в этом аду, в нем поднималось глухое возмущение. Он смотрел на покорную, согбенную Катрину. Неужели можно убивать себя таким тяжким трудом среди вечного мрака, не имея даже возможности заработать какие-то гроши на хлеб?

Негрель между тем удалился с Дансартом, который то и дело одобрительно кивал головой. Вскоре, опять послышались их голоса; они остановились и стали рассматривать подпорки в десяти метрах ниже того места, где работали шахтеры.

– Говорю я вам, что им на все наплевать! – кричал инженер. – А вы тоже хороши, черт вас возьми! Вы, значит, ни за чем не следите?

– Как же, как же, – лепетал главный штейгер, – все время слежу Постоянно приходится твердить им одно и то же.

Негрель громко крикнул:

– Маэ, Маэ!

Все спустились. Он продолжал:

– Взгляните сюда. Разве это держится?.. Все сделано кое-как. Эта подпорка ни к черту не годится: видно, что вбита наспех. Теперь я понимаю, почему нам так дорого обходится ремонт. Вам бы только чтобы продержалось, пока на вас лежит ответственность! А потом все рушится, и Компания вынуждена держать целую армию ремонтных... Взгляните-ка сюда, – ведь это верная смерть!

Шаваль хотел было что-то сказать, но Негрель заставил его замолчать.

– Бросьте, знаю я, что вы мне скажете. Чтобы вам больше платили, да? Хорошо, только предупреждаю, – вы заставите Правление сделать следующее: вам будут выплачивать за

крепления отдельно, но пропорционально снизят плату за каждую вагонетку. Посмотрим, выгоднее ли это вам будет... А пока что переделайте все немедленно. Я завтра зайду.

И он ушел среди общего волнения, вызванного его угрозами. Лебезивший перед ним Дансарт задержался на несколько секунд и грубо сказал рабочим:

– Вот как вы меня подводите... От меня-то вы не отделаетесь тремя франками штрафа! Берегитесь!

Лишь только он ушел, Маэ, в свою очередь, разразился:

– Ну уж, что несправедливо, то несправедливо, ей-богу! Я люблю говорить спокойно – только так и можно договориться; но ведь кончается тем, что человека выводят из терпения... Слыхали? Снизить плату за вагонетку и платить отдельно за крепления! Новый способ вытянуть у нас деньги!.. Эх, черти, черти!

Он искал, на ком бы сорвать гнев, и вдруг увидел, что Катрина и Этьен стоят сложа руки.

– Будете вы подавать мне доски или нет! Разве это вас не касается? Запляшете вы у меня!

Этьен отправился за брусьями, нисколько не обижаясь на эту грубость, сам до того возмущенный начальством, что шахтеры показались ему слишком добродушными.

Левак и Шаваль выругались и успокоились. Все, даже Захария, яростно принялись укреплять штольню. В течение получаса слышались только частые удары да потрескивание дерева. Они не произносили ни слова и только тяжело дышали: глыба раздражала их, им хотелось столкнуть ее и снова вбить одним напором плеча, если бы это было возможным.

– Довольно, – сказал наконец Маэ, совершенно разбитый от усталости и гнева. – Полтора часа... Ну и денек! Мы не получим и пятидесяти су!.. Я ухожу, мне все опротивело.

И, хотя осталось еще полчаса до окончания работы, он стал одеваться. Остальные последовали его примеру. Один вид штольни выводил их из себя. Откатчица опять принялась за работу; они окликнули ее, их раздражало ее усердие: если бы у угля были ноги, он вышел бы сам. И все шестеро, сунув инструменты под мышку, направились прежней дорогой к подъемной машине, до которой предстояло пройти два километра.

В узком проходе штольни Катрина и Этьен задержались и отстали от забойщиков, продолжавших спускаться вниз. Им повстречалась маленькая Лидия; она остановилась посреди дороги, чтобы пропустить их, и сообщила об исчезновении Мукетты: у нее пошла кровь носом, да так сильно, что она побежала делать себе примочки; куда она провалилась – неизвестно, но только ее нет вот уже целый час. Когда они отошли, девочка продолжала катить тележку, надрываясь, вся испачканная, напрягая свои хилые руки и ноги; она походила на черного муравья, который борется с непосильной ношей. А Этьен с Катриной спускались на спине, горбя плечи, боясь содрать себе кожу на лбу; стремительно съезжая по гладкой скале, отполированной телами шахтеров, они время от времени задерживались у бревен, – чтобы у них не загорелся зад, как говорили, смеясь, забойщики.

Внизу никого не было. Красноватые огоньки мелькали вдали, исчезая за поворотом галереи. Веселье молодых людей исчезло, и они шли тяжелыми, усталыми шагами, – она впереди, а он позади. Лампочки коптели. Этьен едва различал Катрину в мглистом тумане. Мысль, что она – девушка, была ему неприятна; глупо, что не он ее целовал, а сделал это другой. Несомненно, Катрина солгала ему: тот, другой, был ее любовником, она отдавалась ему в потаенных углах; самая поступь ее была порочной. Этьен дулся на нее, как будто она его обманула. Между тем она поминутно оборачивалась к нему, предупреждая об опасных местах, и, казалось, приглашала его быть с ней полубезнее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.